



1996 №7

АЛЕКСЕЙ КАРПЕЕВ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНЫЙ ТРИФОНОВ, ИЛИ ПОСТМОДЕРНИЗМ КАК НАШЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОШЛОЕ

Есть в лазури слепой уголок,
И в блаженные полдни всегда,
Как сгустившейся ночи намек,
Роковая трепещет звезда.

У нас была великая эпоха: что должно было состояться в XX веке, состоялось. Если обязательно нужно назвать что-то постмодернизмом - пожалуйста: "паратаксис", "имманентность", "ризомная" запутанность - поверхность и прочее - сработали много лет назад, синхронно с Западом. Именно поэтому XXI веку не нужно быть веком художественного постмодерна: великая эпоха постмодерна состоялась, в России, во всяком случае.

"Это Вечный город, а для вечности опоздание не имеет значения. Вы живете в доме XIX века, спускаетесь по лестнице XVIII, выходите на улице XV и садитесь в автомобиль XXI века... Все перепуталось, вы правы". Жизнь Юрия Трифонова как бы варьирует его фабулу (именно так, не наоборот). Впрочем, писавшие о нем писали о двоящемся облике. Рядом с ливанным жителем, "претерпевающим" превратности русско-советской судьбы (фабула), рядом с "ленивым рыцарем" встает "ассирийский бык" - божественно-могущественное и страшное в неумолимом могуществе своем существо. (Вот тут бы и вспомнить Мандельштама, "тяжелую ассирийскую кровь" в венах XX столетия). Древнее и грозное божество, оказавшееся смертным в Вечном городе.

"Почему я и говорю: надо идти в Колизей ночью. Потому что ни вам, ни мне сделать это больше не удастся".

(Это уплыло, но еще различимо: Ирония судьбы; мокрый воздух новогодней ночи; низкое серое небо; сова Минервы вылетает в сумерках...) (Он писал о самом себе и о близких, повергая их, говорят, в ужас каждой новой книги). Эту "непридуманность" объясняют по-разному. Я думаю, он просто не ощущал потребности "придумывать", потому что все вообще сущее в мире с самого начала подозревалось в придуманности. И потому жалости не заслуживало.

Речь идет не о разоблачении каких-то заранее опознанных "мифов", а о другом, более глубоком и страшном. Честертон отчеканил формулу мировоззрения Теккерая: "Он не верил в мир сей, как скептики помельче не верят в мир иной". Ну, так Трифонов тоже был не из мелких скептиков. Он, вероятно, только к Самому Богу мог отнести как к серьезной реальности, способной "потеснить" всеобщее трансцендентальное Его. Я думало, со времен Толстого (Льва) в России не было писателя, так глубоко переживавшего свое Бого-подобие, так хорошо знавшего себя как творца миров. И так глубоко мучившегося проблемой существования какого бы то ни было мира - Божия и литературного. Больше, чем Виану, Трифонову подошло бы звание "Трансцендентального Сатрапа". Он, как языческое божество, обретался "между" небесным воинством и армией ада, был палим всеми жаждами сразу.

Творить миры. Прожигать их насквозь. Оплакивать сожженное.

Если все вокруг сплошь творцы, и все ими сотворено, то Бога нет, а сотворенное - мура и мура во веки веков. Если же никто не творец, то что сказать о Боге? Что сказать о Боге?

"Вам не надоело?.. Все время писать. Еще надеетесь удивить мир? Думаете, мир крякнет однажды, прочтя ваш опус? Простите, я зол. Потому что я прощаюсь... Почему я и говорю: надо идти в Колизей ночью".

Вот "московские повести". Каждая из них содержит историческую ("эзопову") фигу для просвещенного читателя. Сквозь семейно-бессемейную бытопись "Долгого прощания" проглядывает страшная Москва пятьдесят третьего (и никакого другого) года. Вычисление таких фиг - занятие

увлекательное, как точная наука, но дурацкое. Потому что на самом деле тут не "фига для читателя", а "фига читателю", издательский аттракцион специально для "прогрессивной интеллигенции". Важен не шифрованный памфлет, а то, что и без того плавает на поверхности: кабаки, ярышки, "смятое, кисельное лицо с глазами навыкате, дохнуло шепотом: умер... в пять утра... И вдруг убийца двумя руками поправил кепку и самостоятельно влез в машину" и так далее - то, что есть сейчас и вечно, как Москва. Что же до той "реальной" общественно-политической жизни, которая заявлялась как фига, то она - данный через аллюзию текст, не более и не менее текст, чем текст "Вишневого сада", скользящий сквозь трифоновский.

Как раз то, что можно было бы засвидетельствовать лично - 1937-1953-1968... - заподозрено в чистой "феноменальности", которая годится только на цитирование, наряду с литературным и мифологическим. Особенно эффектна эта угрюмая игра с небытием в "Другой жизни". Да, "большой человек" Парфентий заявлен как карикатура на Лаврентия летом 1953 года... но разумнее и правильнее скользнуть по поверхности этой аналогии и не идти вглубь. Потому что в глубине, может быть, нет ничего, может, нет никакого Лаврентия, а есть только "обмен намеками" между ним и Парфентием - и тут что написано, то написано. (Трифонов говорил, что не любит поисков "второго-третьего смыслов" в своих текстах).

Или иначе. Что из того, что действие, скажем, "Предварительных итогов" увязано с весной и летом 68-го года? Что, Москва перестанет от этого быть вневременным Универсумом, которого не убежишь, потому что это - все равно что от себя самого?.. (Ср. мотивы "Героя нашего времени" в "Итогах"). Что, этот языческий Универсум ("Москва катит все дальше, громоздит башни за башнями, каменные горы в миллион горящих окон, вскрывает древние глины, вбивает туда исполинские цементные трубы, сносит, возносит, уничтожает без следа...") перестанет быть, как ему и положено, темницей души?

Космо-Москва - тело, в котором умирает, рассасывается клетка: "химия и боль". Или космо-Москва - клетка, скрещение миллиона цитат, принадлежащих узникам ее...

Все - (не) выдуманное, (не) подлинное, мура, то есть гераклитов Огонь, реализованный в замечательных образцах человеческой породы... достаточно упомянуть Марину-интеллектуалку ("Обмен"): "Когда она клокотала про тех, кто не признает Пикассо... во рту ее что-то клубилось и даже как будто сверкало".

В сей мир поверить - да во что тут верить?.. Но есть и другая жажда, кроме жажды освобождения от мира - иначе и писать было бы незачем. Потому что "слепили огни, разгорался вечер, нескончаемо тянулся город, который я так любил, так помнил, так знал, так старался понять..." "Потому что другая жизнь была вокруг, была неисчерпаема, как этот холодный простор, этот город без края, меркнущий в ожидании вечера..."

Последние рассказы и роман "Время и место" принципиально как-то поверхности. Скажем так: ни одно "сознание" и вообще ничто феноменологически описуемое - не загадка, не глубина. Есть то, что есть, а сознания - "ниччи", взаимозаменимые. Два "протагониста" "Времени и места" - писатель Антипов и безымянный рассказчик - тождественны как неразличимые. Трансцендентальное Еgo - одно на всех, на весь мир. Тем удивительнее сама возможность встречи с другим - но она вообще вне мира познания, которое с полным правом имперсонально. "Вот он идет, помахивая портфелем, улыбается, бледный, большой, знакомый, нестерпимо старый, с клочками седых волос под крольчатой шапкой, - и спрашивает: "Это ты?". "Ну да", - отвечаю я, мы обнимаемся, бредем по бульвару, где-то садимся. Москва окружает нас как лес. Мы пересекли его. Все остальное не имеет значения".

Пройдя путь познания, деконструировав все мыслимо-немыслимые "трансцендентальные иллюзии", Трифонов не выдавал этот путь за единственный - остается еще, в другом измерении, путь любви и смерти, в горизонте которой только и открыивается любовь.

"Крутом" Кандаурову ("Старик") отдана пронзительная любовная сцена - просто потому, что он болен раком, а "положительные" интеллигенты остаются жить. Немногочисленные "святые" героини - Ниора-домработница, Соня - так или иначе живут под знаком смерти, то есть вечности подлинной. "И я понял: нить... очень простая: она состоит из любви, смерти, надежд, отчаяния и счастья короткого, как порыв ветра". Смерть, необратимая "последняя трансценденция", и любовь в предчувствии смерти - протягивающие нить к реальности Божия мира. И литературных миров тоже.

Еще в "Обмене" Трифонов начал угадывать (может быть, и програмировать) обстоятельства своей смерти. А в час, когда заканчивалась его тяжба с Творцом, он, возможно, предстал перед Ним нераздельно-слившимся со своим героем и с героем Пастернака.

"Когда несли на носилках по лестнице, Антипов думал сквозь боль: не было времени лучше, чем то, которое он прожил. И нет места лучше, чем эта лестница с растрескавшейся краской на стенах, с водяными разводами наверху, с голосами и запахами жизни, с распахнутыми окнами, за которыми шевелился огненный ночной город".

Кончаясь в больничной постели, Я чувствуя рук Твоих жар. Ты держишь меня, как изделие, И прячешь, как перстень, в футляр.

Я думаю, великий постмодернист - это не тот, который идет за постмодерном, а тот, который проходит его насквозь. В таком случае, "вводить" постмодерн поздно. В любом (и атеистическом) смысле Трифонов вытянул его туда, где, по выражению Фолкнера, "Елена и епископы, короли и ангелы изгнанники, надменные и прекрасные серафимы". Вряд ли удастся прибавить что-то существенное к тому, что уже в истории - и в бессмертии.

